

ВОЛНА ИЗ ХВАЛЫНСКА

Посвящается Елене Шаура

Если бы я был девочкой Леной из Хвалынска...

Если бы я был Леной, у которой есть брат-близнец, друг по играм, Леной, в которую влюбляются мальчишки с самого детства, с нежными поцелуйчиками в летнем лагере...

Если бы в меня на каникулах влюбился мальчик — Саша Агранат из славного города Санкт-Петербурга — и окружил своим вниманием, как паучок муху: оплёл мягкими и тонкими, эластичными словами культурного мальчика. Он показывал мне свои поделки: шкатулки и домики, которые он строил из ракушек. Гулял со мной часами, даже не взявшись за руку — и не предлагая поцеловаться... Он собирал камешки, складывал их в свои шкатулки. Одну шкатулку он подарил мне — и я туда складывала свои сокровища. Я прикипела к нему всей душой и хотела бы этих прогулок, мучительно ждала его первого поцелуя, первого шага навстречу мне — а ему завидовала местная шпана, мои дружки по

разбойному детству. Они смеялись над его невинными прогулками, а он никогда не хотел примкнуть к нашей команде. И вот они вынесли страшный вердикт: мне надо расстаться с Агранатом! Или — или, я должна выбрать: он или они!

Возглавлял шпану мой брат, мой близнец, человек одной крови и силы со мной, и разорвать с ним отношения я никак не могла. Я не могла пойти против брата, против команды, против своей разбойной шайки, против Хвалынска — и осознав это, я плакала всю ночь. Брат говорил мне:

— Пойми, Лена, ты для него никто, он из Питера, зазнайка — он с нами не хочет дружить, а тебя даже ни разу не поцеловал (шпана наблюдала за нашими прогулками).

Мне был поставлен ультиматум, для меня был уже составлен план: нам надо было взобраться на гору, на местный Синай, возвышающийся среди кустов и состоящий из гравия — и здесь я должна была вонзить в сердце Аграната кинжал своих слов:

— Нам надо расстаться, мы не можем больше встретиться...

Шпана должна была сидеть в ку-стах и наблюдать наше расставание, они хотели превратить мою личную боль в спектакль, они хотели видеть драму двух сердец, падение Аграната!

Утром, во время прогулки, мы должны были взойти с Агранатом, юным человеком из других земель и стран, взойти на гору — и здесь я должна была сказать ему самые страшные слова, вонзить в сердце кинжал.

Всё так и было. Мы стояли на вершине горы, я потянулась к нему и взяла за руку. Я смотрела на него во все глаза, мне было больно — и интересно, что почувствует он, когда я произнесу эти ужасные слова: «Мы не будем больше встречаться!» Ведь для него это должно быть неожиданностью —

считай, на ровном месте, когда ничего не предвещало расставания...

На горе Синай, на вершине горы из гравия на него сошло откровение:

— Мы не будем больше встречаться, ты — камень из Питера, а я — волна из Хвалынска — пролепела я, глядя в глаза Аграната — и отпустила его руку... Успев заметить сузившиеся зрачки, я отвернулась и, не глядя под ноги, понеслась вниз по склону, споткнулась — и полетела кубарем, поранила локти, разбила коленки, расквасила нос — я упала у подножья горы из гравия, я вся истекала кровью.

Родная шпана окружила меня, подняла и понесла на руках домой, как героиню Хвалынска. Да, если бы я был девочкой Леной, у меня была



Юрий Нечипоренко родился в городе Ровеньки Луганской области, бывшей станице Таганрогского округа Войска Донского, в семье начальника связи треста «Фрунзеуголь», прошедшего войну (истории из его жизни вошли в первую книгу писателя «Мой отец — начальник связи»). Рукопись заметили и поддержали Лола Звонарёва и Лев Яковлев. Один из создателей творческого объединения молодых писателей «Чёрная курица». По специальности — биофизик, закончил физический факультет МГУ, работает в Институте молекулярной биологии РАН (занимается изучением молекулы ДНК, живой клетки и вирусов). На физическом факультета стал одним из инициаторов возрождения студенческого праздника — Дня Архимеда, инициировал создание Клуба поэзии, более 20 лет возглавляет жюри литературного конкурса «Первый снег» и Турнира поэтов. В 2014 г. инициировал Всероссийский фестиваль детской книги, который проходил до пандемии 2020 г. в Российской государственной детской библиотеке. Автор издательских проектов «Для взрослых и детей» и «Для тех, кому за 10», в которых вышло более 20 книг современных детских писателей. Лауреат литературных премий («Ясная Поляна», «Серебряный Дельвиг», им. Сергея Михалкова и др.). Книги переведены на китайский, греческий, сербский и румынский, отмечены медалями Общества «Знание», дипломами «Золотой витязь», «На благо мира» и др. Пишет рассказы, повести, сказки, книги о русских классиках Гоголе, Пушкине, Ломоносове, Достоевском, о том, как устроены живая клетка и мозг человека (в соавторстве с ведущими российскими учёными). Постоянный участник телепередач «Игра в бисер» (канал «Культура»), конгрессов Фонда Достоевского, книжных фестивалей, руководитель группы «Детская литература» Экспертного совета по позитивному контенту при Уполномоченной по правам ребенка при Президенте РФ, автор более 100 статей в области биофизики — и более 500 статей и заметок в области художественной критики и публицистики.



бы до сих пор отметка — шрам на колене. Любовь не проходит бесследно.

Рассказы и сказки из сборника

«ГОРСТКА БОБОВ»

Рисунки *Далии Атабани*

Вучёных статьях обязательно есть предисловия, приложения, примечания и что-то такое умное, ещё более умное, чем сама статья. Я тоже не удержался, но вместо предисловия к рассказам дарю вам сказку.

ГОРСТКА БОБОВ

Рассказ учёного монаха

Яродился в семье бедных огородников, и, когда отец с ма-тушкой почили, надорвавшись от непосильных трудов, всё, что осталось от них у меня — честное имя и горстка бобов. Но один бобовый стручок прокормит в день разве что мышонка. «Что же делать?!» — задумался я... И пошёл в храм Ста золотых Будд, где с детства привык молиться богам с золотыми лицами: здесь круглый год пылает пламя, сюда приходят тысячи паломников и подбрасывают хворост — тонкие палочки, собранные в пучки. На золотом блюде горят палочки, а у меня нет даже палочек, чтобы принести их в жертву богам. Тогда я взял один бобовый стручок из горсти, чтобы бросить его в огонь. Но в последний момент пожалел, поцеловал его — и посадил зёрна в землю у статуи золотого Будды.

От жара Будда лоснится — это служки его протирают водой с благовониями, чтобы Будде не было жарко. Капли с тела Будды падают на землю... Через неделю моих стручков становится вполовину меньше. А ведь я недоедал, я берёг их. Вновь пошёл в храм, чтобы спросить совета у золотого Будды. И что же вижу?

У подножия статуи зеленеет молодой побег. Это чудо! Ведь в огороде бобы дают ростки и выходят из земли лишь через месяц после посадки. Мой росток поднимается не по дням, а по часам! Я уже не отхожу от золотого Будды, усердно молюсь — и вот в конце второй недели, когда кончились мои запасы, Будда весь увит листвой. Служители храма объявляют случившееся чудом! Мне позволяют ухаживать за бобами, вскоре я собираю урожай — у меня уже не одна горстка, а целых три. Весть о том, что золотой Будда совершил чудо и спас сына огородника от голодной смерти, разносится по городу. В храме начинается столпотворение, Будде возносят славу и приносят жертвы. Верховный жрец благосклонно принимает меня в своих покоях и назначает на роль огородника при храме. Распространяется слух, что эти чудесные бобы лечат больных и продлевают жизнь.

Я вновь засеваю бобы — и получаю урожай уже в десять раз больше.

Верующие покупают эти бобы по хорошей цене, лекари готовят из них чудодейственные зелья. Храм процветает. Перед всеми статуями в храме Ста золотых Будд разбиты грядки с моими бобами. О бобах

прослышал придворный лекарь — и теперь мы поставляем их ко двору императора.

Я целую каждый плод, прежде чем посадить его в землю. Круглый день, круглый год горят костры в храме Ста золотых Будд — и каждый месяц я собираю урожай, который раскуплен уже на много лет вперёд самыми знатными семьями Китая. Меня награждают почётной повязкой поставщика императорского двора. Обьевшись целебными бобами, умирает верховный жрец храма. Статуи полностью покрываются побегими бобов. Верующие пытаются протестовать, но мы перестаём пускать их в храм. Храм превращается в теплицу и приносит баснословный доход. Все монахи становятся огородниками. Мы скрещиваем между собой бобы, выводим новые сорта.

Есть у нас бобы размером уже с хороший кулак и стручки — с человеческую руку. Прогресс не остановить! В зарослях бобов я оставляю лишь одну тропинку — к своему Будде. Похоже, теперь в этом храме молюсь только я.

Часть первая

Я родился в маленьком городке и в детстве ничего не знал про науку и не видел живьём ни одного учёного. Когда по радио или по телевизору говорили: «Учёные считают...» — к этому надо было относиться с почтением. После школы я поступил в университет, потом был принят в Академию наук — и сам стал учёным. Теперь мне самому надо с важным видом «считать и вещать». А мне всё время хочется шутить и смеяться. Многие требуют, чтобы я прекратил это и стал серьёзным человеком. Но важный вид у меня не очень получается. Может быть, смех — это просто разрядка от напряжения, лекарство от печали? Ведь сказано было: «Во mnogой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь». Мне, как учёному, приходится познания умножать, но совсем не хочется умножать скорбь. Поэтому я и рассказываю истории, в которых грусть перемешана с радостью.

ДВЕ СОБАКИ

Саше Захарову

Спервой из Собак я встретился в возрасте четырёх лет. То есть мне было четыре года, а сколько было Собаке, я, к сожалению, не



знаю. В этом возрасте Человек по весу и по росту не сильно отличается от Собаки. А если она встанет на задние лапы, то может оказаться даже выше Человека.

Я гостил у бабушки в деревне и, как только приехал, сразу увидел эту замечательную Собаку — чёрную, с белыми подпалинами. То есть лапы были у неё белые, и на лбу белое пятно. Она жила во дворе у бабушки без всякой цепи — жила как друг, а не как раб в ошейнике. Собаку так и звали — Дружок. Она подбежала ко мне, махая белым хвостом, и я даже испугался немного. Потому что удивительно и непонятно, почему это мохнатое существо на четвереньках, ещё даже ничего про тебя не зная, сразу очень хорошо к тебе относится.

Папа сказал: «Не бойся!»

Бабушка сказала: «Она не злая, мы её даже на цепь не сажаем».

Собака сказала: «Я хочу с тобой дружить!»

Вы скажете, что Собаки не умеют разговаривать, — и ошибётесь! Потому что говорят же не только словами — говорят глазами, и лапами, и даже когтями... Вот когда Собака стала на задние лапы и лизнула меня в нос — то неужели непонятно, что она молча сказала всё, что говорят друг другу люди, когда рады встретиться... Дружок поцеловал меня в нос и опять встал на четвереньки. Он запрыгал вокруг и начал выказывать радость: хвостом, ушами, лапами — махал как дирижёр перед оркестром... Мне тоже захотелось ему показать, как он мне нравится и что я его люблю, что я хочу быть с ним на равных. Но как

сказать? Я встал на четвереньки и начал бегать рядом с ним.

Папа и бабушка очень удивились, они ведь обычно смотрели на Собак свысока. Взрослые рассмеялись и хором начали уговаривать меня подняться опять на задние лапы. Но я их не слушал и убежал в лопухи. Мы нашли общий язык с Собакой, мы понимали друг друга, мы кувыркались и прыгали, валялись в лопухах и обнимались... Это моё первое воспоминание, первое из самых первых! Тёплая живая шерсть в руках и ощущение радости от равенства всего живого на земле, покрытой лопухами, — вот то, что навсегда осталось от общения с первой из Великих Загадочных Собак. В тот вечер мы с Дружком вместе убежали, спрятались от папы и от бабушки! Потому что, хотя они и очень хорошие, они не понимали нашего равенства, они могли нам помешать. А потом, как-то незаметно, мы в обнимку заснули... Это было так давно... Но когда я вспоминаю — словно раздвигаю заросли огромных лопухов, проваливаюсь в глубокий колодец, — падаю в детство всё глубже, кувыркаюсь и становлюсь всё меньше... И всё почтительней я отношусь к Собакам.

И всё ближе они становятся ко мне...

* * *

Кто в детстве не мечтал иметь собаку?

Я мечтал... Я хотел, жаждал, желал и не раз упрашивал папу:

— Па, а почему бы нам не завести собаку?

— Соседи будут возражать...

— Ну и что, отчего это мы должны их слушать, почему надо им подчиняться? Я не понимаю, ведь собака будет наша, мы живём в отдельной квартире, я могу держать её под кроватью...

Но у папы один ответ: соседи... Может, с ними поговорить? Вдруг удастся уломать хотя бы некоторых, а потом поставить вопрос на голосование. Вот, например, мой крёстный, Фёдор Петрович, — разве он будет возражать против собаки? А директор шахты Гордукалов — он же совсем не появляется во дворе, его можно и не спрашивать, и его сын Толя — мой первый друг. Если ещё уговорить парочку соседей, то нас будет большинство, и мы заведём собаку... Соседи у нас вообще не очень злобные, но соседки противные: торчат всё время во дворе и за мной следят. Чуть что — донесение папе. То им не нравится, что стреляю из воздушки, то — что жгу костёр, что строим с друзьями халабуду, играем в футбол... Словно они цари, а я — их подданный народ, который можно угнетать. Я обдумывал планы мщения: разбить стёкла, влезть в сарай, что-нибудь стырить, сочинить прокламацию или ночью нарядиться привидением... Я не хотел быть бесправным народом, я хотел устроить революцию и свергнуть этих некоронованных монархов-пенсионеров. И вот однажды к нам во двор приблудилась собака. Пёс был очень почтительным и так тактично поджимал хвост, приближаясь к соседкам, чистящим кар-

тошку, варящим борщ, моющим кастрюли у своих летних кухонек, что даже их, этих заплесневелых тёток, он обаял. Может быть, им не хватало чинопочитания — им нужен был такой подданный, который бы ползал на брюхе у их ног и радовался, когда ему бросали кость... Со мной у Жульки были совсем другие отношения — взаимопомощь и партнёрство: он приносил стрелы, которые я пускал из лука, играл в мяч и всё делал без подобострастия, с достоинством.

— Дворняжка, — сказал папа, когда его увидел.

— Почему сразу пренебрежительное — дворняжка, дворняга? Лучше сказать Дворянин — это самый честный и преданный друг дворянского звания. Я рыцарь, а он мой паж, оруженосец, верный дворянин!

Так я объяснял это странное прозвище. Папа же говорил, что дворняга — это собака, в которой намешано много кровей, беспородная. Насчёт породы — точно никто не знает, у кого какая порода. Да и вообще, порода — это хорошо или плохо? Породой называли камни, которые окружали уголь в шахте, и там порода как раз была не нужна — её выбрасывали на свалку. У каждой шахты высится террикон — целая пирамида этой самой породы. А вот уголь — он нужен всем, он нарасхват: его бросали в печь, он там раскалялся и всех согревал. Жулька тоже был чёрный как уголь, и он был мне тоже очень нужен. Быстрый вёрткий пёс по понятливости и усердию не уступал породистым собакам. С блестящими глазами он

принимал и приветствовал все мои начинания.

— Жулька! Пойдём в лес!

И вот я уже шагаю в окружении пса — в окружении моей верной свиты: он всё время бегаёт вокруг! Не теряет ни минуты даром, что-то обнюхивает, узнаёт, быстро оставляет свои метки: задрал мимоходом лапу — и пометил дерево или столб. Если у вас никогда не было собаки, то вы не представляете даже, какое это богатство! Все мальчишки на вас смотрят с завистью и спрашивают:

— Это что, твоя?..

Каждый ваш выход, каждая прогулка превращается в ритуал, становится событием — как путешествие испанского короля. Потому что вы уже не просто мальчик, который «шатается без дела». Вы шествуете с важным видом, как Человек, Рыцарь, Гранд... Это же чудесное времяпрепровождение! И это куча новых возможностей! Сколько же можно! Скажут, что печёнки мешают, в которых «кто-то сидит», или язык «шибок острый», — и вырвут за милую душу. Дай им только волю... Крикнешь: «Жулька!» — тут как тут появляется из-за угла, дерева, из-под земли Тот, Кто всё время слышит тебя, Кто слушает, Кто любит... Как много сразу появляется в жизни с комком чёрной шерсти на быстрых лапах! Собака — это богатство, это ещё одна голова или рука. Это такая удача! Жулька лает и бросается на воробья — я делаю внушение: воробья не надо трогать, сейчас мы заняты, спешим в лес, не стоит отвлекаться... Так продолжалось... неделю

или две, месяц или два — не помню; помню только, что соседям Жулька, несмотря на свою уникальную уживчивость и почтительность, быстро надоел (или они начали завидовать мне, что он любит меня сильнее, чем их). Но моему счастью пришёл конец. Я не знаю до сих пор, как они извели его: сами отравили или сдали собаководам... предали, продали моего друга, пажа, оруженосца...

Была осень, шёл дождь, текли лужи по двору — и мой крёстный, Фёдор Петрович, назвал пса «Кабыздох». Я взбесился, наговорил ему гадостей, даже рычал на него:

— Нельзя так обзывать собаку! Сказать «кабыздох» — это значит пожелать смерти! Я тоже могу выйти на середину двора и кричать на всех соседей: «Кабыздохи!»

Фёдор Петрович принялся успокаивать меня, говорил, что Кабыздох — это шутивное прозвище, это так у них в детстве всех собак называли. А сам он ничего не имеет против пса, только тут псу не место, потому что тот гадит и гоняет кур.

— Это всё неправда, враньё, никого он не гоняет, он воспитанный и ходит аккуратно в общий туалет во дворе, я сам ему показал и приучил...

В общем, дело швах. Если даже крёстный ополчился на нас... Проклятое слово «кабыздох» тревожило, свербело в душе.

В тот день, когда пропал Жулька, у меня вырезали аденоиды — это какие-то гланды... Все были уверены, что их надо обязательно «удалять» — будто человек набит ненужными органами, и от них надо постепен-

но избавляться. Я сопротивлялся, конечно, но был составлен заговор из врачей и папы — он тоже меня уговаривал, а я ему верил... И меня повели в больницу — чтобы больше горло не болело, как говорил папа, — а Жюльку не взяли: будет мешать, в больницу собак нельзя! Там какой-то дядька сначала полез ко мне в рот шприцем: делал укол «заморозки», а потом щипцами стал там ковыряться, всё хотел ухватиться поудобней. Вырвал, но не до конца. И опять мне «морозили» горло, и опять принялись рвать... Но тут я сам вырвался от них — и больше уже не дался. А папа меня защитил: потому что — сколько же можно!.. Так из человека могут всё вырвать. Скажут, что печёнки мешают, в которых «кто-то сидит», или язык «шибко острый», — и вырвут за милую душу. Дай им только волю... Но папа меня пожалел — он переживал за меня и сам мучился.

А когда мы вернулись назад, во двор, то тут и обнаружилась эта подлость: Жюлька куда-то пропал! Я заглянул в будку, потом пытался его позвать, но изо рта, распухшего от заморозок, лишь слюни текли. Когда Жюлька так и не появился, я понял: мою собаку куда-то свели, а возможно, убили. Я прислонился к фонарному столбу и заплакал... Кто лишился в одночасье одновременно своего Рыцарства и любимого существа, тот, наверное, меня поймёт — и мне не надо будет долго описывать, как я выл, понимая, что все вокруг обманщики, все против меня. Понимаете: всё пропало...

С тех пор многое изменилось в нашем дворе: крёстный умер от рака, сошли в землю и мои «враги» — соседи и соседки. Многие исчезло из жизни — но никогда больше не чувствовал я себя таким Рыцарем, никогда не был окружён таким вниманием, защитой и любовью со стороны сильного и преданного существа. Ободрали меня тогда, изнутри и снаружи ободрали... И хотя я и сейчас иногда стараюсь вести себя так, будто у меня есть дворец, есть друг и паж — не очень-то и получается. Наверное, потому, что так недолго рядом была в детстве моем эта замечательная, умная, великая Собака. Но благодаря ей, обыкновенной дворняжке, я научился чувствовать себя Человеком.

ПОБЕГ

Папа принёс с базара новые сандалии. Я их даже примерять не хотел, мне показалось, что они девчачьи. Было бы позором появиться в таких сандалиях в детском саду! Однако семья на меня набросилась скопом: и сёстры, и мать, и отец, — все убедили, что сандалии эти очень даже мужские, такие носят настоящие путешественники, они крепкие и прочные.

Детский сад находился в предместье, мы говорили: «На посёлке». Путь неблизкий: на автобусе семь остановок или почти час пешком. Отец возил меня туда на мотоцикле и оставлял воспитателям на съедение. Не могу сказать, что воспитатели были злыми, но они всё время

что-то требовали от нас, а мы должны были слушаться. Нашу группу вела Людмила Ивановна, и у неё был «пунктик»: она рассказывала нам много о древних героях, благородных рыцарях и прекрасных дамах... Мы шли гулять по окрестным холмам и прудам, а представляли это чуть ли не как путешествия за золотым руном или походы крестоносцев. Изобретали себе гербы, шили флаги — девочки помогали нам. Мы жили дружно, почти не ссорились. Пацаны были — что надо. Силами мы мерялись как-то необходимо, были у нас даже рыцарские турниры. С одним парнем я поменялся ремнями в знак великой тайны, которая нас соединила, — Тайны Власти. Никогда с тех пор я и не встречал такой милой компании единомышленников... Мы твёрдо знали, что всем миром правят серые дядьки... Дядьки эти были опасные люди, сами ничего толком не умели, но зато управляли другими, «строили» их, следили, чтобы не высовывались. И только ты сделаешь что-то великое, «высунешься» — тут они тебе сразу по носу! Откуда мы это узнали — ума не приложу.

И всё же, когда тебя гонят толпой то на обед, то на горшок, то в спальню на мёртвый час — радости тут маловато. Когда я перешёл в старшую группу, то горшком уже никто не пользовался — ходили мы на улицу, в летний туалет типа «сортир».

Однажды в этом туалете случилась со мной незадача. Новые сандалии оказались заляпаны жижей светло-коричневого цвета. Как уж это вышло, откуда взялась эта га-

дость — ума не приложу, но важен был результат: я замарал сандалии. Не могло быть и речи, чтобы показываться в таком виде в саду, — меня бы засмеяли и задразнили потом на всю жизнь. Первым делом я попытался скрыть следы своего позора: нашёл в углу туалета глину и оттёр ею сандалии. Однако всё равно пятно казалось заметным. Цвета глины и жижи не совпадали, что приводило меня в ужас.



Вот уже и на мёртвый час (так назывался дневной обязательный сон) зовут — а я занят сандалиями. Людмила Ивановна подошла под окна сортира и просит меня выйти оттуда, спрашивает, не случилось ли что. Я отвечаю:

— Сейчас, сейчас! Не волнуйтесь, Людмила Ивановна, я сейчас приду!

Наверное, она подумала, что у меня расстройство желудка, и покинула свой пост. Я прокрался из туалета во двор и стал изучать обе сандалии уже на свету, под солнцем. Одна сандалия явно отличалась от другой. Тогда я решил уйти из детского сада домой. Не было у меня опыта путешествий пешком на такие расстояния, не умел я пользоваться и автобусами. Мало ли куда автобусы могли завезти... Общее направление я помнил: по длинной улице, которая вела к центру города, мимо опасного посёлка, что звали Кабырдой. Здесь водились злые мальчишки, они приставали к прохожим, попавшим на их территорию. Но приходилось выбирать между риском и позором.

Дождавшись, когда все скрылись в главном корпусе, я перебежал к калитке и выскользнул наружу. Теперь меня никто не мог заметить: детсад был обсажен плотными кустами и высокими деревьями. Я зашагал домой по улице — мимо домов и машин, по обочине дороги. Мирно зашагал, как обычный прохожий. В полдень солнце пекло нестерпимо. Передо мной открывались широкие улицы предместья. Дорога, что соединяла город и посёлок, напоминала позвоночник, и, как ребра от позвоночника, отходили от неё на обе стороны улицы: Московская, Станичная и прочие... На улицах привольно паслись козы, валялись хрюшки, бегали псы, гуляли стайками гуси и индюки. Вся эта живность представ-

ляла опасность не меньшую, чем мальчишки-хулиганы! Козы могли забодать, индюки — зашипать, собаки — покусать, хрюшки — напасть, опрокинуть и зарыть в ямах, где они сами прятались от солнца. Поход по этим местам казался мне прогулкой канатоходца по раскачивающемуся над пропастью канату. Там, где канат крепился к стенам пропасти, качало уже меньше, и я с радостью увидел родной базар, знакомое здание школы — а вот и дом... Дома никого не было: я забыл, что мама и папа в это время на работе, а сёстры — в школе. Что же делать? Пришлось поворачивать и топтать уже вбок — от главной улицы-позвоночника по улочке-ребру — к маме на работу. Не забуду ощущения, которое преследовало меня во время пути: словно я нарушаю какой-то закон, оказываюсь в том месте, где не должен быть, и вижу то, чего не должен видеть. Это чувство меня пьянило, придавало всему увиденному особенную яркость. Заканчивался уже мёртвый час в детском саду, и последние минуты несбывшегося дневного сна пришлось на встречу с мамой в аквариуме универмага «Детский мир», где она тогда работала. Мама нервно ходила среди игрушек и, увидав меня, ахнула.

— Ты где был? Что случилось?

— Нет, ничего не случилось, я просто решил уйти из сада.

— Как это — уйти из сада?

— Захотелось домой, но там никого не было.

— Ты знаешь, что отец тебя обыскался?!

Оказывается, Людмила Ивановна

уже обнаружила мой побег и сообщила отцу на работу. Отец объехал полгорода и как раз сейчас должен был оказаться у матери — вместе решать, что делать дальше. Конечно, досталось тогда мне от отца, но расчёт удался! Сандалии запорошены пылью дальних странствий, на них не обратили внимания — и удалось избежать «позора на всю жизнь».

ХАЛАБУДА

Первый халабан

Взрослые называли его обидно: «хибара, халуца или шалаш», но мы-то знали, что это — наш дом. Петька сказал: «Будем строить халабан» — и меня подхватил ветер этого слова: на голове зашевелились волосы, глаза заслезились, и в носу зачесалось от счастья. Потому что «халабан» — это что-то вроде балагана, каравана, карнавала, что-то загадочное и приятельное.

Петька взял меня в подручные. Я бегал по двору в поисках досок, гвоздей, молотка — всяких нужных инструментов и материалов для стройки. Он тесал брёвна, а потом вертикально загонял их в землю ударами молота.

Брёвна были не такие уж и большие, толщиной с бутылку из-под сиропа, но халабан наш всё равно обещал стоять крепко. Петькина идея была гениальна! Сэкономить на материале и выиграть на прочности за счёт того, что две стены халабана уже готовы — от дома и от забора. Оставалось достроить ещё две и поло-

жить доски на крышу. Халабан этот в дальнем закутке двора стал суверенной территорией, первым оплотом независимости. Там мы могли устраивать собрания, игры и представления. Нас было немного: моя одноклассница друг-враг Наташка; Валя — по возрасту где-то между мной и Петькой; да Гришка, он на лето наезжал к бабушке. Остальные всегда менялись: то это были две худые девчонки Печенковы, то невесть откуда налетевшая Лариса, потом это стал Толик Гордукалов. Итак, у нас был свой дом, где мы, скрытые от взрослых глаз, могли устраивать всё что хотели: показывать фокусы, играть в прятки или даже скакать голышом... Мы ретиво зазывали соседок, давали девчонкам на представления билеты — узкие листочки с зазубринками, которые отрывали с вербы. Билеты — это было всерьёз, солидно, и девчонки пролезали, согнувшись, через маленькие дверцы халабана, рассаживались в первом ряду, чтобы опять с негодованием отвернуться, когда начинался коронный номер программы — «Голяковские пляски», которые шли сразу после фокусов из журнала «Мурзилка». В общем, эти пляски тоже были фокусами — попробуйте, стоя на голове, отплясывать, да ещё голышом... Как в халабане могли помещаться зрители в три ряда, исполнители и конференсье — для меня остаётся загадкой. Небольшой халабан с огромным запасом места — свободный от взрослых — стал целой эпохой в жизни ребят и девчонок нашего двора.



Второй халабан

Миновало время игрушечных телефонов и прятков, трёхколёсных велосипедов и фокусов из «Мурзилки». Мы вышли на тропу войны: в стоящем через дорогу доме выросла когдла драчливых мальчишек. Второй халабан в этой суровой боевой жизни был построен как оплот дружины нашего двора.

Наш двор примыкал к богатому подворью техникума. В этом техникуме было множество уникамов — диковинных механизмов, расположенных прямо под открытым небом. Мы только-только начали разрабатывать эту «жилу», которая по праву могла считаться нашей, как начались злостные набеги соседских

мальчишек. Эта орда действовала вероломно и нагло. Они могли захватить в плен, мучить и пытаться самым жестоким образом — с выворачиванием рук, щипками и щелбанами. В их жестокости ощущался привкус физкультурного садизма: они любили устраивать поединки, вроде боёв гладиаторов в древнем Риме, и дело нередко кончалось серьёзными синяками. Все они были старше, и их было больше: в нашем дворе в лучшие времена жили трое ребят, а тех — шестеро. Петька решил построить штаб обороны — халабан, о существовании которого никто не должен был знать. Тот, старый, не удовлетворял требованиям безопасности: он располагался на краю двора, у забора, и соседские мальчишки могли легко им овладеть. Для этого им даже не надо было перелезть через забор — достаточно проломить доску, чтобы сразу попасть внутрь. Так что прежняя Петькина конструкция, хотя и была гениально экономичной, в военном смысле являлась неудачной.

Пришла ему в голову новая гениальная идея: устроить халабан между двумя заборами. Дело в том, что несчастный техникум замучился постоянно латать отделявший его от нас забор, который дал серьёзную «течь» — с десятков проломов, дыр и щелей зияло в нём. Начальство техникума, уставшее чинить старый, догадалось в полутора метрах от него построить новый красавец забор из свежих досок, отступив вглубь своей территории, но создав мощный оборонительный рубеж наподобие Великой Китайской Стены.

Эта затея позволила нам накопить строительный материал. После того как работающие с лендой студенты уходили домой, штабель досок, не прибитых ещё к забору, мы считали законным трофеем. Когда их стройка окончилась, началась наша — и в узком проходе между старым и новым заборами мы за пару дней соорудили халабан. Две стены стояли уже готовые, даже не надо врывать столбы: оставалось только набить на заборы планки и соединить их досками, соорудив нечто вроде колодца, а потом положить сверху крышу с люком для входа. С одной стороны халабан скрыл сарай, с другой — могучая ольха. И ещё: между заборами натаскали хлам, чтобы никто не смог распознать, где находится наш штаб. В тайну, кроме меня и Петьки, был посвящён третий наш боевой товарищ — Толик Гордукалов. В высокоом сарае, который загораживал халабан-штаб со стороны двора, семейство Толика держало индюшек, их клёкот заглушал наши тайные разговоры — так что халабан был прекрасно замаскирован не только для глаза, но и для слуха.

Петькин гений не стоял на месте. После того как халабан был построен, Петька решил сделать его двухэтажным — выкопать яму вниз на пару метров. Тогда халабан наш стал бы настоящей крепостью, и мы могли бы укрываться от набегов в подземелье. И вот, втайне от всех, мы начали рыть яму. После первых двадцати сантиметров перегноя и глины мы натолкнулись на серьёзное препятствие: пласт камня. Ка-

мень этот, хотя и не твёрдый (не гранит или мрамор, а слоистый, шершавый песчаник), долбить было не очень легко...

Петька раздобыл где-то кирку, и мы, разбившись на смены, как заправские шахтёры, били светло-жёлтую плиту этой киркой: со всего размаху вгрызались в неё... Приходилось становиться на колени, чтобы удар попадал в плиту перпендикулярно. Размахнуться не получалось: мешали стены халабана. Толку было с гулькин нос. Сам Петька предпочитал не махать киркой, а управлять работами, снабжая нас с Толиком сведениями о достижениях. Он сидел рядом, поглядывая на часы, и сообщал: «За час вы продвинулись на два сантиметра»... Вскоре он придумал устроить взрыв — пообещал, что притащит детонатор, и мы взорвём неприступные камни, как это делают шахтёры в забое. Наша энергия переключилась на изготовление пороховых смесей и взрывпакетов. Наконец всё было подготовлено и рассчитано: углубление в камне, патрон с бикфордовым шнуром...

Но тут нас подстерегла огромная и позорная неудача. Нет, дело не в том, что соседские мальчишки начали догадываться о нашей тайне, и не в грозном начальстве техникума, которое уже пыталось установить контакт с нашими родителями, — нет, всё было проще и гаже.

Накануне взрыва Петька нашёл меня и сказал:

— Всё пропало. Тимофеевна, домработница Гордукаловых спустила в наш ход помёт из сарая...

Это была убийственная новость. Оказалось, что Тимофеевна давно уже ломала голову над тем, куда девать помёт от индюшек, которых она разводила в сарае. И вот высмотрела, что у сарая, под забором, есть удобная дыра. Видно, вредная старуха выследила нас и специально ждала, пока дыра не станет достаточно глубокой. А мы — с трудом и огромным напряжением сил, с «потом и кровью» — прошли уже почти полметра в каменистом грунте...

Она подкараулила момент — и, подкопав под забор из своего сарая, вывалила в наш ход кучу помёта, который накопился от поганых индюшек. Что было делать? Вычерпывать вонючие отходы из подземного хода лопатой? Жаловаться родителям Толлика, требовать, чтобы Тимофеевна сама вычерпала? Но все взрослые наверняка бы приняли её сторону. А находиться после этого в халабани, не зажимая пальцами нос, не было уже никакой возможности... Мы отступили, столкнувшись с деловой хваткой обычной старухи. Рухнула наша мечта о своём доме, и, со стыдом вспоминая об этом гениальном халабани, мы больше уже не пытались ничего строить в своём дворе. А с ребятами из соседнего двора мы сошлись ближе — хотя они были жестокими и драчливыми, но всё-таки не такими каверзными, как эта избретательная бабка.

Третий халабан

Началась новая жизнь. Наши объединённые силы, используя заначку

из отличных струганых досок, воздвигли посредине соседнего двора не какой-нибудь курятник, притулившийся к чужой стене, а серьёзный настоящий дом на четырёх столбах. И столбы эти — уже не с бутылку, а с целую трёхлитровую банку толщиной! Врыты они были глубоко, доски подогнаны друг к другу ровно, без щели и задоринки. И чердак сверху просторный, и крыша двускатная, крытая толем, — в общем, халабан наш вышел чудесный, загляденье, да и только! Была в нём даже пара окон: одно на первом этаже, другое — на чердаке. Зима уже была не за горами, и мы на какой-то стройке добыли железную печку-буржуйку. Трубу провели через чердак, набрали дров... У каждого были чёткие функции: меня, например, назначили истопником. Зимними вечерами мы — всемером, вдесятером — забирались на второй этаж, под крышу халабана... Такое счастье: в нашем совместном владении — целый дом! За окном свистит вьюга, снег скрипит под ногами прохожих, а мы тесно сидим, вернее, возлежим вокруг свечи, наподобие греческих мудрецов на пиру, подперев голову одной рукой и уставившись на пламя. В свободной руке держим карты и, не забывая поглядывать в них, ведём разговоры о кино, книгах, девчонках... Почти всё свободное от хоккея время мы проводили в халабани, играя в самые простецкие карточные игры — «дурак», «король», «бура» и «очко». Хотя играли всего-навсего на спички, интерес был грандиозный! Радости клуба и рулетки, пере-

живания игроков вокруг стола с зелёным сукном, так ярко описанные Пушкиным и Достоевским, мы знали прекрасно — по собственному опыту бдений за картами. Представьте, что вам постоянно улыбается удача, и вы увеличиваете ставки и срываете огромный банк в несколько коробков спичек! Так проходило лучшее, бездельнейшее время жизни: мы рассказывали истории, шутили, смеялись — всем, наверное, это знакомо. Внизу бросалась искрами печь, а то вдруг начинала дымить — и приходилось спускаться к ней, кормить дровами, раскопчегаривать, раздувать пламя... Все затеи рождались в этом халабани, все новости стекались туда. Халабан стал центром нашей жизни. Из него предпринимались вылазки во всё расширяющуюся, всё взрослеющую вселенную — на озёра, в лес, на карьер и в механические мастерские... Может быть, у кого-то в это время жизнь была другой: с изостудиями, кружками пения и танцев, музыкой и иностранными языками... а у нас дворцом искусств и наук, школой мудрости и мужским клубом был халабан.

ДРУГ МОЙ ТОЛЬКА

Памяти Джеймса Олдриджа

Толик появился в нашем дворе внезапно: две сестры Печенковы съехали (с родителями, конечно), а Толик с братом — приехали. Брат его не особенно вникал в наши дела: он носил брюки дудочкой и ухаживал за барышнями. А мы с Толиком как раз совпали: он был стар-

ше меня года на три и стал самым верным, самым лучшим другом. Мы вместе стреляли из самопалов, делали взрывпакеты, строили халабуды и мечтали о кораблях на воздушной подушке. Толик увлекался машинами — у его отца была большая «Волга», и в их гараже была оборудована глубокая бетонная яма для того, чтобы к машине было удобно подобраться снизу и подкрутить там гайки. Всё время в гараже кто-то крутил гайки у этой «Волги» — то ли шофёр его отца, то ли механик, — в общем, несколько мужиков в спецовках. Немудрено, что она мало ездила, больше стояла на приколе. Под вечер, когда уходили взрослые, в подzemелье гаража любили спускаться и мы с Толиком. Там, в полутьме, можно было стоять в полный рост. Брюхо «Волги» висело над нами, как брюхо небесной коровы, которую мы проходили в школе, — богини Нут из египетской мифологии. Вокруг «Волги» стояли книжные шкафы. У родителей Толика была большая библиотека, и они в гараж относили книги, чтобы те не занимали место в квартире. Дома у них стояли книги отборные — там были Станислав Лем и Джеймс Олдридж. А в гараже лежали журналы «Крокодил», с анекдотами и карикатурами, и... сказки. Была там и книжка с радугой на обложке: «Дорогие мои мальчишки» Льва Кассиля — про Синегорие, волшебную страну мастеров. Я зачитывался ею и воображал нас с Толиком мастерами из этой страны. Ещё там были «Турецкие сказки» — с цветными картинками, узорными орнаментами и восточными красавицами.

От таких изысков наша семья была далека: у нас на этажерке стоял Пришвин с картинками, где были изображены бобры, занятые строительством плотины, — книга такая читанная-перечитанная, что бобры эти казались уже родными. Про Олдриджа я тогда не слышал, а у родителей Толика был целый двухтомник: «Последний изгнанник» — о судьбе англичанина, который должен покинуть Египет. Толик подарил его мне на день рождения, и, хотя книга показалась мне трудной, я старался её читать. Развалилась Британская империя, но у героя оставались в Египте дружба и любовь. Всё это было довольно сложно для человека лет десяти от роду, но я пытался одолеть роман.

Толик появился в моей жизни как сверкающая комета! Вместо сомнительного Петьки, который надо мной всё время глумился, у меня появился настоящий друг, который во всех делах принимал мою сторону, поддерживал мои начинания. А то, что он был старше и общался со мной как с равным, придавало нашей дружбе оттенок благородства. У Толика был тонкий гордый нос с горбинкой, который я считал признаком аристократизма, связывая его со стилем Толикиного общения — доброжелательного, неброского и высокого. Мы жили с ним как два благородных дона, увлекающихся техникой. Вместе читали журнал «Юный техник», где было много интересного. На обложке стояли буквы «ЮТ», и для себя я даже переименовал этот журнал в «Юра-Толик». Вдруг в какой-то мо-

мент я осознал, что Толик уедет от нас... Их семья сменила уже много городов, нигде подолгу не задерживаясь. Друг мой исчезнет так же внезапно, как появился. Семья Толика вела кочевой образ жизни, его отец был начальником, его всё время переводили с места на место, и Толик успел поучиться в разных школах. От сознания ужаса и неотвратимости беды я даже заплакал. Вскоре так и случилось — Толик уехал. Был он рядом со мной недолго, но запомнил я его на всю жизнь. Когда, уже будучи взрослым дядькой, я начал писать рассказы о детстве, то снова пережил это расставание. Мне стало так же остро не хватать Толика и очень захотелось разыскать его через двадцать лет! Я узнал, что он работает в министерстве энергетики, живёт в Подмосковье. Мы встретились — и я совсем не узнал его. Выглядел он как обычный человек, которого я бы не выделил из толпы. И только нос с горбинкой — знак Толикиного смешливого аристократизма — жил высокой жизнью на его лице. А меня, сказал Толик, он узнал по глазам... И я понял, какого друга потерял в детстве. Редко встретишь столь внимательного и бережливого человека, который двадцать лет помнит твой взгляд. Толик стал заядлым автомобилистом: та самая «Волга», что стояла у них в гараже, эта небесная египетская королева, определила его судьбу. Больше мы с ним не встречались. Но я так же, как в детстве, люблю Джеймса Олдриджа, которого подарил мне на день рождения Толик. Я перечитываю книги этого пи-

сателя — и удивляюсь редкому сплаву ума и благородства. Олдриддж был военным корреспондентом и жил в Москве в 1944–1945 годах — здесь он встретил Победу и навсегда сохранил в своём сердце любовь к нашей стране, как бы она ни называлась — Россия или СССР. Иногда я открываю книгу и перечитываю дарственную надпись: «Юре от Толика». Что может быть проще? Друг подарил мне целый мир.



ОГНЕННЫЙ ОБМОРОК

Ксении Драгунской

Как-то раз мы с соседской Наташкой забрались на чердак сарая. Там было пыльно и темно. Чтобы разглядеть таинственные

вещи вокруг, я зажёл спичку. Наташка подставила лучину — кусок щепки, который мог гореть дольше спички, — но лучина вдруг брызнула искрой, от неё отлетела щепка поменьше — и упала Наташке на кофту. Кофта вмиг вспыхнула! По Наташке, как по огненной тигрице, побежали круги пламени... Горела не сама кофта, а какие-то мелкие пушинки, которые её покрывали. Кончики их мгновенно воспламенялись и тут же перегорали. Зрелище напоминало табло с бегущими буквами... Красота была неопиcуемая: весь чердак мгновенно осветился, в углах, как на фотокарточке, проявились таинственные древние сундуки и чемоданы. Наташка завопила, я бросился к ней и стал ладонями сбивать огонь. Поневоле мы сплелись в объятиях — и начали барахтаться, стараясь прижаться друг к другу и затушить пламя. Слава Богу, моя рубашка не была синтетической и не полыхнула от жаркого контакта с Наташкиной кофтой. Щетинки на её кофте быстро перегорели. Мы вместе упали на простые доски чердака... Буквально рухнули в изнеможении от пережитых в одно мгновение чувств!.. Смертельная опасность, высветившийся чердачный мир, неожиданные объятия — всего этого хватило надолго. Воспоминание осталось на всю жизнь. С Наташкой не было у меня романа, как-то не вышло... Но вместе с ней — соседкой и подружкой по дворовым играм — я испытал такой ужас, такой страх и такое огненное исступление, которого не переживал потом никогда ни с одной женщи-

ной. Мы вместе лежали на чердаке, на полу, который был потолком, и спасались друг у друга в объятиях...

С тех пор я с опаской поглядывал на девчонок. Каждый миг, каждый шаг, каждый жест чреват: зажѣг огонѣк, вспышка — и нá тебе! Огненный обморок! Вокруг пыль, сундуки и чемоданы, пол и потолок сразу. И, чтобы спастись от верной смерти, ничего нельзя будет сделать другого, только это. И это ничего не значит, никакой семьи, любви и дружбы из этого не следует, просто вдруг — неожиданное и тесное соседство. Соседство в памяти... на всю жизнь...

Поэтому соседок надо опасаться особенно. И вот я переехал в Москву, обзавѣлся женой, поселился на Садовом кольце. Наташка далеко, здесь у меня не было уже знакомых соседок, и, казалось, ничто не предвещало опасности. Курить я бросил давно, ещё лет в десять, так что девушкам на Садовом кольце, которые спрашивают: «Огонька не найдѣтся?» — отвечаю честно: «Нет!»

И что же вы думаете? Приходит однажды к нам в гости милая и культурная девица-красавица. Мол, читает она мои рассказы! Течѣт разговор, слово за слово... А слова-то все добрые... а глаза сияют ласково... Чувствую: опять опасность!

— Огонька не найдѣтся?

Тут уже не соврѣшь — на кухне-то плита газовая...

— А где у вас курят?

— На кухне...

Выходим на кухню, тут у нас сундуки с книгами, присаживаемся, зажигаем... Спрашиваю, как зовут, где живѣт.

— На Садовом кольце живу, через дорогу...

Господи! Соседка! Огненный обморок...

ДАЛЁКОЕ ГОРЕ

Телевизора у нас дома не было долго. У всех моих друзей уже завелись эти «ящички счастья»! А моя жизнь — без мультфильмов и кино — мучила меня, я чувствовал обездоленность... Помню, однажды уставился на этажерку с книгами и заплакал: они никак не могли мне помочь. Отец заглянул в комнату и стал невольным свидетелем моего горя. Не прошло и недели, как телевизор в доме появился. Нельзя сказать, что до того телевизора не было у нас вовсе. Был — на работе отца, в его кабинете (где мы чувствовали себя почти как дома). Но тот телевизор был казѣнным, и включать его в рабочее время было нельзя (поэтому мы часто заходили к отцу всей семьѣй по вечерам). Он стоял на высоком сейфе, так что приходилось смотреть на него снизу вверх, как и следует смотреть на начальство. Это было оправдано, когда транслировали новости: там мелькали важные дядьки, которые назывались «партия и правительство». Однако порой по телевизору показывали совсем неофициальные вещи. Скажем, кино: там пели, плясали и даже целовались. Мне почему-то неловко было смотреть на поцелуи, и я опустил голову — или даже прятался к отцу под стол. Сестрицы мои, язвы, это заметили и стали кричать всякий

раз, когда в кино дело шло к поцелу-
ям: «Лезь под стол!»

Потом, когда я подросток, лезть под
стол уже не хотелось, но сёстры про-
должали свои шуточки. Противно,
когда тобой командуют!..

Первая передача, которую пом-
ню, — похороны Кеннеди. Убийство
Кеннеди почему-то произвело на
всех сильное впечатление. Прои-
зошло оно далеко от нас, на другом
конце земли, в Америке. Америка
считалась страной скорее плохой,
чем хорошей, так как строила нам
всё время козни. Отношение к ней
было, мягко говоря, настороженным.
Но Кеннеди все жалели. Казалось бы,
какое нам дело до их президента?
Но даже у нехорошей страны может
быть президентом — в виде исклю-
чения — хороший человек. Может,
потому его и убили? Похороны были
солидными, важными. Гроб, обёр-
нутый полосатым флагом, везли на
лафете. (Полосы эти я видел чуть не
в первый раз в жизни и не мог по-
нять, почему гроб одели в пижаму.)
Новости собрали у телевизора па-
пиных друзей, других начальников,
наших соседей по дому. Почему-то
смотреть на похороны оказалось
мужским занятием. Все они наблю-
дали — как там, в Америке, салютуют
над гробом, отдавая военные поче-
сти, — и тихо обменивались недоу-
мевающими замечаниями. Кеннеди
казался «своим среди чужих». К нему
наши начальники относились сочув-
ственно: он был их сверстником, как
и они, начальником, и с ним случи-
лось то, от чего никто не застрахован.
Эта смерть чисто по-человечески

объединила на какое-то время две
страны — Америку и Россию. Печаль
и жалость пронзили, стиснули два
полушария Земли, как две половин-
ки сердца. Похороны по телевизору
мы видели впервые. Телевизор — буд-
то невероятный телескоп, наведён-
ный на смерть — безмерно приумно-
жил печаль. По всему земному шару
люди, оторванные от дел, работы или
семьи, смотрели на лафет и гвардей-
цев, видели их так близко, словно
сами участвовали в похоронах. Был
там и священник, было много но-
вого и необычного, на что я глядел
широко раскрытыми глазами. Аме-
рика показывала свои святыни, свои
могилы, толпы плачущих людей —
показывала всему миру своё горе от-
крыто, не стесняясь. Оно пронзило и
нас, и мы потом уже не могли к Аме-
рике относиться так плохо, как рань-
ше: нас связало общее горе.



РАЗВАЛИНЫ

Если идти от нашего дома к центру города, то по правую руку видишь развалины... Из земли поднимаются, в землю уходят стены дикого камня, по которым взбирается трава и кучерявятся вьюнки. Здесь находится фундамент старого дома-крепости, по которому можно бегать, перепрыгивая через дверные проёмы, что разбивают толстые стены на каменные столбики. В развалинах — без крыши, без потолка и пола — можно спрятаться от взрослых, играть в казаков-разбойников, партизан, воображать себя рыцарями (защитниками или захватчиками крепости). Бегая по стенам крепости, рискуешь сорваться и грохнуться в яму, которая была когда-то комнатой в подвале (для нас, младших школьников и дошколят, это чуть ли не два человеческих роста!). Развалины опасны — и тем притягивают. Здесь можно обнаружить клады с оружием, которые остались с незапамятных времён, от войны и революции. Мимо развалин проходит улица Ленина. Соседский оболтус Петька, главный источник особо ценной мальчишеской (не взрослой и не школьной) информации, рассказывал, что Ленин устроил революцию, но не все были ею довольны, и одна злая тётка в него стреляла из пистолета. Она его не убила, только ранила, но пуля была вымазана ядом, и потом ему было очень трудно выздороветь. Тётку поймали и хотели расстрелять, но Ленин пожалел её и приказал оставить живой —

только посадить в заключение, чтобы она смотрела из окна, видела, что жизнь после революции становится всё лучше, и мучилась раскаянием. Держали эту тётку, как утверждал всезнающий Петька, в том самом доме-крепости, который превратился в развалины. Мучительно было ей жить на улице, которую назвали в честь Ленина, и долго она страдала, когда видела, что всё лучше живут люди в нашей стране и что неправильно она тогда стреляла. Потом она умерла, и крепость стала не нужна — жить в ней после тётки никто уже не хотел, даже преступников туда не селили, потому что страшнее той тётки уже не было преступников. Потому крепость и развалилась со временем. А потом нагрянули немцы и окончательно её разбомбили (непонятно зачем: то ли за тётку мстили, то ли за Ленина — история об этом умалчивает).

Так на нашу долю остались уже одни развалины, следы людской глупости и ненависти. Эту историю нам рассказывал Петька, а мы думали — вдруг в крепости что-то осталось от былых времён? Может, даже тот пистолет, из которого тётка стреляла? Мы начали розыск. Простукивали стены, рыли ямы в фундаменте, чуть не дрожа от надежды и предвкушения...

Ничего там не находили! Но кое-что ценное точно имелось — только в другом месте, которое нам показал тот же Петька, на Пороховой: так именовали ту часть леса, где когда-то стояли пороховые склады. Уж не знаю, чьи это были склады — то ли наши, то ли фашистские, — но факт

остаётся фактом: склады эти разбомбили так удачно, что теперь порох был рассыпан на участке в сотню метров длиной и столько же шириной. Да не мелкий какой-то порох, а крупный, артиллерийский, который имел форму небольших «колбасок» толщиной от соломинки и до мизинца. Излюбленным нашим занятием стали поиски пороха в этом — исканном-обысканном уже до нас не одним поколением мальчишек — лесу, который назывался Гремучим. Здесь, под вековыми дубами, рядом с ямами, которые образовались от разрывов снарядов, разрушенных дотов и пороховых складов, мы проводили часы в поисках пороховых «колбасок». По форме, цвету и размеру они почти не отличались от обломков мелких веточек. Так что на них требовался особого рода нюх... Чтобы идти на Пороховую, мы собирались компаниями и соревновались — кому больше повезёт — с ребятами из соседнего двора. За два-три часа упорных поисков можно было обрести по двадцать-тридцать порошин, которые мы потом пускали на ракеты...

Оборачивая порохину фольгой от конфеты и поджигая её с одной стороны, можно было запускать ракету, такую же серебряную, как космическая, только маленькую. Мы очень гордились этими запусками, дорожили порохом — и меняли его разве только на особо ценные марки.

Позже мы узнали, что в Гремучем лесу фашисты расстреляли молодоговардейцев из Краснодона — таких же, чуть постарше нас, пацанов

и девчат, которые здесь не в игры играли, а воевали с ними, были настоящими городскими партизанами. Место расстрела находилось у озера, на другом конце леса, за старой барской усадьбой и пионерским лагерем. Тех, кто отдыхал летом в лагере, водили туда целыми отрядами. Шагая по тропинке в старом дубовом лесу, мы встречали какие-то странные растения, похожие на свечи или лампы: они торчали по сторонам дороги и светились в полумраке леса белыми фитилями. Вечерами в больших спальнях-палатах пионерского лагеря, где помещалось по двадцать коек, велись проникновенные разговоры. Один мальчишка задавал всем и каждому «коронный» вопрос:

— А ты способен отдать свою жизнь, за то, чтобы молодоговардейцы были живы?



Этот вопрос о жизни и смерти леденит душу... По всем законам пионеров, по клятве, которую мы давали, — жизнь надо было отдавать... Но почему-то очень не хотелось этого делать. Там я подружился с одним парнем, который мне показался самым разумным из всех, спорящих на темы жизни и смерти. Нас потянуло друг к другу в этом безумии пионерской жизни — и как же было жалко, когда за ним внезапно приехал отец и увёз его домой. Надо же было случиться тому, что у этого парня погиб ближайший друг — утонул в пруду во время купания!.. Все разговоры, догадки и сомнения о жизни и смерти взорвала и продолжила реальная история. Жизнь оказалась полна риска — и можно было потонуть, сломать шею, нарваться на мину, оставшуюся в земле ещё со времён войны, или попасть под оборванный электрический провод... Так погиб потом мой приятель, здоровый и весёлый парень Костя: он загорал на крыше гаража, а тут как раз оборвался провод. Даже не по нему самому ударил этот провод, а так, на расстоянии упал. Но приближаться к проводу было нельзя, нельзя было даже на пару метров подходить — потому, что по крыше потёк ток, всё это место оказалось под напряжением. Ему бы тихо отползти с этого места подальше, а он попытался что-то исправить: сделал по крыше два шага — и всё... Ток пробежал по ногам, что-то повредил. Костя упал... Когда прибежали взрослые, то уже не смогли помочь: был человек — и нет его. Эта смерть сильного и доброго парня меня поразила. Я стал стра-

шиться столбов с проводами. Если в развалинах опасность более или менее видна, и ты сам решаешь, рисковать или нет, прыгая через ямы, то электричество может коварно ударить в самый неподходящий момент, неожиданно, откуда ни возьмись... Сила электричества зажигает лампочки, заставляет вращаться моторы и двигаться станки и даже поезда. И эта же сила может бездарно уходить в землю или даже зло убивать всё живое вокруг. Как порох, который может запустить ракеты, что летят в космос, — или отправить пулю в человека. Но в отличие от пороха, электричество проникает всюду, оно может оказаться в любой момент не только в проводе, но и в чистом воздухе — как разряд молнии. А бывают ещё шаровые молнии, о которых вообще неизвестно, откуда они берутся и как живут... Этого не ведают даже учёные, которые их изучают. Неужели их насылают на нас какие-то высшие силы (как боги Древней Греции, что распоряжаются ветрами, молниями и дождями, проявляя через них свою ненависть и любовь)?..

Обо всём этом думалось в пионерском лагере, когда весёлыми синими ночами мы жгли костры на опушке леса. Был один главный костёр, в начале каждой смены, костёр этот складывали высотой метра три. Вверх на десяток метров поднимались огни пламени, танцевали огненными змеями, и искры летели в небо. Никогда и нигде я не видел таких картин! Ни одному современному художнику их не нарисовать — эти неуловимые, непредсказуемые змеи из несущихся к небу искр, тра-

ектории которых были свободны, чисты и чудесны. В этом полёте сгорали, гибли какие-то частицы древесины, кусочки угля — но до чего же красна была их смерть здесь...

Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры — дети рабочих.
Близится эра светлых годов.
Клич пионера:
«Всегда будь готов!»

Эта эра пришла. Остаётся сделать её светлой, как пели в песне.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СВЕТИЛСЯ

Жил-был человек, который потихоньку светился. Днём это было незаметно, а к вечеру становилось видно, что лицо его, и руки, и

шея — всё светится в темноте. Не так сильно, как электрическая лампочка, однако же достаточно, чтобы, например, можно было рядом с ним книжку почитать. А когда он раздевался, становилось ещё светлее — оказывается, от тела его исходил матовый лунный свет. И по ночам все его боялись, никто не хотел с ним оставаться — страшно становилось от такого сияния, а выключить его никак нельзя было. Вот человек этот и жил один — сам в гости не ходил, и к нему никто не приходил. Казалось, что он светится всю жизнь совершенно напрасно, без пользы. Но однажды во всём мире погас свет. Не было видно ни зги, не горела ни одна лампочка! И тогда все бросились искать человека, который светился сам по себе! И очень быстро нашли — по свету.